

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ



## “ТАМ, НА ЧУКОТКЕ...”

ГЛАВЫ ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ РОМАНА  
“ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ?..”

## “ХОТЬ МАТУШКУ-РЕПКУ ПОЙ...”

### 1. ДОКУМЕНТЫ

Из подневного журнала:

*Январь 1946 г.*

Продолжительная сильная пурга в течение семи дней (4.1—11.1) сменилась морозами до  $-45$  гр., с сильным ветром до 9—10 баллов. В период снегопадов видимость сокращалась до 0 метров... дороги занесены снегом... доставка угля и продовольствия из порта Провидения прекратилась... запас некоторых продуктов близится к концу.

В результате продолжительных ветров каркасно-засыпные постройки подверглись выветриванию, у 30% — снесло крыши... опилки и дерн между стен осели, обшивка из сырых досок дала большие щели... снег через щели, проемы окон проник внутрь помещений. Автотранспорт встал.

Несмотря на усиленную топку печей, в жилых помещениях очень холодно... расход угля чрезвычайно большой.

Плотный снег толщиной 40—70 см накрыл весь строительный материал. Личный состав целиком занят на хозяйственных работах: расчистке палаток, землянок, казарм, складов от снежных заносов, ремонтом кровли, укреплением построек, расчисткой дорог... все строительные материалы —

Продолжение. Начало в №1 за 2009 г.

кирпич, доски, drankу, растворы — носили на себе, двигаясь через сугробы по поясе в снегу.

За месяц — 25 неблагоприятных дней с пургами и снегопадами. Пургу личный состав переносит без особых затруднений... значительно хуже — холод в помещениях.

*Февраль 1946 г.*

Установилась тихая морозная погода. Обильные снегопады сменились поземкой. Средняя температура — 25 градусов, ветер северный и северо-восточный силой 2—6 баллов, видимость днем до 1,5 км, в бухте Эмма — дымка... День значительно удлинился до 6—6,5 часов.

Прошла проверка частей по боевой подготовке и впервые за зиму проведена пристрелка оружия... Итоги посредственные: холодный порывистый ветер и низкое давление отрицательно влияют на стрельбу.

*Март 1946 г.*

Во всех батальонах проведены учения... 2-й батальон получил хорошую оценку.

### ИЗ ПРИКАЗА

22.1.46 г.

Штаб бригады

пос. Урелик

#### О перерасходе топлива

Несмотря на мой приказ № ... от 15.10.45 г. об экономии топлива и приказ по тылу № ... от 25.11.45 г. о порядке и норме выдачи угля, к его исполнению отнеслись халатно, не был организован жесткий контроль за расходом топлива, вследствие чего только во 2-м батальоне в декабре месяце произошла пережога угля — 9,5 тонн, а за 19 дней января — 16,7 тонн, в результате в батальоне не оказалось топлива и пришлось уголь выдавать из резерва.

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

...2. Установить норму выдачи — 5 кг на одну топящуюся печь во всех жилых помещениях.

...4. За перерасходованный уголь в декабре и январе с. г. командиру 2-го ГСБ-на капитану Кузнецову объявить выговор и арестовать на 5 суток домашним арестом с удержанием 50% денежного содержания за каждые сутки ареста.

5. Удержать 75% стоимости перерасходованного угля с пом. командира батальона по МТО капитана Северюхина и 25% с интенданта батальона мл. л-та Рындина.

...7. Предупреждаю командиров частей и подразделений о персональной ответственности за экономию топлива.

Командир 56 ОГСБр  
полковник

Фомин

#### СПЕЦПОЛИТДОНЕСЕНИЕ

Военному прокурору

24—26 января 1946 г. был сильный буран с большим снегопадом, сила ветра достигала 21,8 м/сек. Стихией была разрушена телефонная связь и электроосветительная сеть, имелись сильные обвалы.

Личный состав не выходил из землянок, естественные нужды отправляли тут же, в землянках.

Установить наличие и отсутствие людей в указанные сутки не было возможным.

После стихания бурана утром 26.1 выявлено отсутствие ст. л-та и/с Сухина Александра Григорьевича — начальник финансовой части 4-го отдельного стрелкового батальона, кандидат ВКП(б), 1919 года рождения, русский, образование 7 классов, в РККА с 1941 года, с октября 1945 г. — в резерве; адрес — Приморский край, ст. Пограничная.

Как установлено расследованием и показаниями ординарца, ст. л-т Сухин 25.1 в 13.00 самовольно вышел из своей землянки с целью пойти в землянку хоз. части, которая находилась в 50 метрах. Идя по расположению части по страховочному канату, заблудился и в расположении части не появился.

К концу дня 26.1 после стихания бурана ст. л-т Сухин был обнаружен замерзшим в трех километрах от расположения батальона на берегу пролива. Он не дошел до хоз. землянки несколько метров, на страховочном канате осталась закрепленная рукавица.

Нач. политотдела  
майор

Попов

### СПЕЦПОЛИТДОНЕСЕНИЕ

Начальнику политотдела  
майору Попову

23 февраля 1946 года после праздничного обеда военнослужащие 3-й стрелковой роты рядовые Кутихин Павел Егорович и Соседов Сергей Антонович, оба беспартийные, 1926 года рождения, в войне с Германией и Японией не участвовали, проживали на оккупированной немцами территории с октября 1941 года по февраль 1943 года, земляки, уроженцы села Мясодово, Белгородского р-на, Курской области, будучи в нетрезвом состоянии, порознь совершили самовольную отлучку в поселок, где почти в одно время оказались в яранге у старухи-эскимоски Мани Тевлянто\*, 1897 года рождения, страдающей открытой формой туберкулеза и, как теперь обнаружилось, венерическим заболеванием типа "хроническая гонорея", о чем Кутихин и Соседов если достоверно и не знали, то не слышать не могли.

Оба они пришли к Мане Тевлянто с целью удовлетворения своих низменных половых потребностей, для чего Кутихин принес ей банку стуженого молока, а Соседов кулек с яичным порошком (примерно 300 грамм), украденным им во время дежурства на пищеблоке в составе суточного наряда 19 февраля с. г. Они стали договариваться, кто из них будет первым, заспорили, по предложению Мани Тевлянто бросили жребий, и он выпал Кутихину, однако Соседов не согласился и затеял дебош. Сначала он нанес несколько ударов ногами по печке, отчего повредил вытяжную трубу и большой медный чайник, а затем бросился на Кутихина и, сбив его с ног, пытался задушить. Последний в ответном ожесточении выдавил Соседову левый глаз, после чего, вытолкнув его из яранги, использовал заразную эскимосскую старуху в своих личных половых интересах.

Находившимися в поселке дежурными патрулями Соседов, а затем и Кутихин были задержаны и доставлены в батальон, где Соседову была оказана медицинская помощь. По заживлении раны он, как потерявший глаз, подлежит комиссованию и последующей демобилизации.

Кутихин по приказу командира батальона арестован и содержится в землянке батальонной гауптвахты. Предварительное расследование ведет военный дознаватель, начфин батальона старший лейтенант Лупанов.

В тот же вечер я посетил Маню Тевлянто, беседовал с ней и сказал, что поврежденная во время драки дымовая труба, на что она пожаловалась, как и чайник, будут отремонтированы. Она настроена мирно, заявила, что никаких претензий к кому-либо из военнослужащих, посещавших ее в этот день, как и в предыдущий период, она не имеет, все происходило по взаимному согласию, о чем мною у нее была взята расписка, а стуженка и порошок не изъяты, а оставлены ей, чтобы она никуда не жаловалась.

\* Так в документе. Судя по фамилии, М. Тевлянто — чукчанка.

Нами с рядовым и сержантским составом проведена активная политико-воспитательная работа с разъяснением и категорическим предупреждением о недопустимости половых связей с М. Тевлянто и остальными местными женщинами, среди которых имеются больные туберкулезом, трахомой и другими венерическими болезнями\*.

Одновременно нами предупрежден председатель поселкового совета и перед ним поставлен вопрос о необходимости немедленного выселения Мани Тевлянто из погранзоны особого режима для предотвращения заражения военнослужащих батальона хронической гонореей и открытой формой туберкулеза, лечить которые в условиях отдаленной местности нет возможности из-за отсутствия лекарств.

Зам. командира 1-го горно-стрелкового батальона  
капитан

Утяшкин

## ДОНЕСЕНИЕ

### О проведенной работе по боевой и политической подготовке

В соответствии с директивой ВС ДВВО, несмотря на тяжелые бытовые и жилищные условия, малую продолжительность светового дня (от трех до пяти часов), большую занятость на хозяйственных работах, с личным составом систематически проводились занятия:

1. С офицерским составом проведены лекции и практические занятия по усовершенствованию знаний на основе изучения опыта Отечественной войны и войны на Дальнем Востоке.

2. В учебных частях и подразделениях с декабря начаты занятия по подготовке сержантского состава.

3. На тактических учениях отрабатывались слаживание и взаимодействие подразделений (отделение, взвод, рота, батальон).

4. Большое внимание уделено усовершенствованию одиночной подготовки бойцов.

5. Осуществлялись мероприятия по физической закалке всего личного состава и обучению мерам предупреждения несчастных случаев в период снежных бурь, заносов, низких температур.

6. С 22 по 26 марта с. г. прошла проверка боевой подготовки на стрельбах из всех видов оружия.

7. 31 марта с.г. проведены тактические батальонные учения с совершенным марша.

Итоги инспекторской проверки стрельб и учений показали хорошую боеготовность личного состава частей и подразделений бригады.

Вся партийно-политическая работа была направлена на воспитание личного состава в духе преданности и беззаветного служения Родине, мужества в преодолении создавшихся трудностей службы, сбережения и сохранения матчасти, оружия, боевой техники и транспорта, экономии топлива.

Нач. штаба

## 2. БОЛЕЗНЬ: СОСТОЯНИЕ “АГОНАЛЬНОЕ”

В жизни вокруг происходили непонятные истории: ну зачем, например, при отсутствии топлива в бригаде закладывать в государственный резерв низкокалорийный, открытой выработки чукотский уголь? В жизни было немало непонятного, необъяснимого, но если это непонятное и необъяснимое исходило от государства, я всегда был убежден, не сомневался: есть высшие соображения, недоступные пониманию простых смертных.

В жестокие чукотские пурги, когда жизнь в части фактически замирала, я, продрогший до кишок, целыми днями лежал в землянке под несколькими одеялами. Тускло светила коптилка. Угля для печурок выдавали нам в обрез, поскольку командованию на Чукотке стало известно неофициальное истори-

\* Так в документе.

ческое высказывание товарища Сталина: “Экономия — основной закон послевоенного периода”. Правильное, мудрое изречение, если бы оно еще не задело нас самым неожиданным образом. Относительно чего он это сказал, при каких обстоятельствах, где и когда, никто толком не знал, однако началась ожесточенная кампания по экономии под девизом “Помни: советское государство не дойная корова! Экономь во всем ночью и днем!”, и худо бы нам пришлось, если бы не случай обыкновенного местного подхалимного перегиба.

Начальник политотдела бригады майор Попов, заметив, что бойцы не съедают полностью котловое варево, в порядке личной инициативы, через голову корпусного начальства, дал шифровку Военному Совету округа с рационализаторским предложением: сократить суточные пайковые нормы для отдаленной местности примерно вдвое. Как сообщил нам по секрету лейтенант из шестой части, предложение было сделано от имени личного состава бригады, хотя никто из нас об этом не просил.

Мы было приуныли, однако в ответной шифротелеграмме член Военного Совета округа генерал-лейтенант Леонов разъяснил майору, что норма суточного пайка для отдаленной местности определена постановлением, подписанным лично товарищем Сталиным, и любые иные толкования этого вопроса исключаются. Затем за обращение не по инстанции, минуя Военный Совет округа, последовал втык майору и от корпусного начальства; несколько дней после этого он ходил, как нашкодившая, побитая собачонка, осознавшая свою вину перед собратьями: от столь тяжелой политической промашки он даже осунулся и постарел.

Однако постановления высокого начальства насчет угля не было, и его теперь стали давать строго в обрез — по пять килограммов на сутки; мы мерзли жестоко, нещадно, и страдали от простудных заболеваний, особенно неприятно — от фурункулеза и карбункулов.

Помню отчетливо: с огромным, размером с кулак, карбункулом на виске и ангинозными нарывами в горле, с температурой свыше сорока и чудовищной болью под черепом, в полубубке поверх трофейных неопределенного цвета рубашки и кальсон, в валенках, с перебинтованной головой, обернутой поверх повязки трофейным одеялом, обливаясь потом, я в полубессознательном состоянии сижу на топчане. Мой верный ординарец Вася Сургучев и двое взводных держат меня под руки и пытаются поить теплым, крепким и очень сладким чаем, но я не могу глотать, даже слова вымолвить — и то не могу.

Печка раскалена докрасна и жара непереносимая: узнав, что я погибаю, все землянки и палатки — великая армейская солидарность! — прислали по котелку угля, чтобы хоть перед смертью мне было тепло. С утра, чтобы поднять мне настроение, в палатку принесен ротный патефон, и с невероятным шипением крутится заезженная пластинка:

*Спите, бойцы,  
Спите спокойным сном,  
Пусть вам приснятся нивы родные,  
Отчий далекий дом...*

Вальс “На сопках Маньчжурии”<sup>\*</sup> — нарочно не придумаешь! Маньчжурия — с сопками и без сопкок, — стоившая жизни Володьке и Мишуте... И крутится, не кончается пластинка, и никто не догадается остановить, снять, заменить ее... Мне поднимают настроение...

*Ночь, тишина,  
Лишь гаолян шумит.  
Спите, герои, память о вас  
Родина-мать хранит!*

---

<sup>\*</sup> Слова и музыка И. А. Шатрова, вальс написан в 1906 г., первоначальное название “Мокшанский полк на сопках Маньчжурии”, в котором служил автор, с 1918 г. — “На сопках Маньчжурии”.

Как офицер, я не имею права выказывать слабость при подчиненных, но я не в состоянии удержаться — рыдания душат меня. Они стоят передо мной, беспомощные, растерянно-убитые, в глазах у одного из взводных и у Сургучева — слезы. Мне-то невдомек, а они знают точно, достоверно, что я обречен, и убеждены, что рыдания мои — предсмертные, и я прощаюсь со всеми. Лейтенант медслужбы Пилюгин, военфельдшер, исполняющий обязанности врача и представляющий в батальоне мировую медицину, осмотрел меня ночью: сжав запястье, долго считал пульс, заговорщицки подмигивал всем, что-то для себя определил и доложил утром командованию, что мне уже не выкарабкаться — “гной прошел в мозг и состояние агональное”.

Коль так, все делается по порядку. Согласно приказа НКО № 023 меня, как офицера, положено похоронить обязательно в гробу. Пока я был в забытии, меня предусмотрительно обмерили, и, дабы не тянуть потом время, солдаты из моей роты с помощью клея и сотен гвоздей изготовили из тонкой ящичной дощечки — в три слоя — домовину размером сто восемьдесят на пятьдесят пять сантиметров, чтобы, чуть подогнув ноги в коленях, меня можно было туда поместить (спустя неделю мне покажут это сооружение на складе ОВС\*, покажут и выкрашенную красным фанерную пирамидку с пятиконечной звездочкой — в скором времени они пригодились для другого).

...Я не умираю, мне суждена еще довольно долгая жизнь, и плачу я не от боли или из-за своей незаладившейся судьбы — просто при упоминании о Маньчжурии я не могу не думать о Володьке и Мишуте...

### 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Воспрям я только в марте сорок шестого, когда после известной фултонской речи Черчилля\*\*, в которой он призвал к войне с Советским Союзом, впервые появились слова “железный занавес” и вновь запахло войной, причем для нас, находившихся на границе с Америкой, запахло не только “холодной”, но и горячей: вскоре после этой воинственной с угрозами речи на сопредельном материке, в северных районах Аляски, начались сосредоточение и нескончаемые маневры американских войск, в проливе стали появляться американские военные корабли и подводные лодки.

В разведбюллетенях вместо трудно произносимых немецких наименований замелькали другие, благозвучные и красивые, иностранные слова: “Блэкфин”, “Каск”, “Бэкуна”, “Диодин”, “Кэйман”, “Чаб”, “Кэйбзон” — названия больших американских подводных лодок.

Они приплывали летом из Кюдиака на Аляске, возникали со стороны островов Диомида в надводном положении, по четыре-пять в группе, сопровождаемые крейсером типа “Орлеан” или своей плавучей базой — транспортом “Нереус”, — медленно проходили Берингов пролив, по-хозяйски крейсировали на траверсе расположения бригады и стопорили машины. Американские моряки, различимые даже с берега в полевые бинокли, появлялись на палубе; в оптические приборы они часами рассматривали нас, фотографировали; на крейсерах же игралось учение: броневые орудийные башни разворачивались в нашу сторону, одновременно на воду спускались катера, полные вооруженных американских матросов.

Все это было явным вызовом — в бригаде каждый раз объявлялась боевая тревога.

Нас отделяли от Америки, точнее от Аляски, какие-то шестьдесят километров; Берингов пролив, который к зиме замерзал, покрывался толстым льдом, способным выдержать тяжесть не только людей и автомашин, но и танков.

С весны сорок шестого мне снились кошмарные сны: вооруженные до зубов американские солдаты в меховых комбинезонах на джипах, “доджах” и

---

\* ОВС — отдел вещевого снабжения.

\*\* Уинстон Черчилль, экс-премьер-министр Великобритании, произнес речь 5 марта 1946 года в американском городе Фултон (штат Миссури).

бронетранспортерах катили по льду через пролив, двигались и пешим ходом, как саранча, как татаро-монголы, несметными полчищами, спешили, лезли, перли на нашу территорию.

Самым тяжелым в этих снах было то, что мы не могли их остановить: моя рота погибала до последнего бойца, я же непременно оставался живым и весь израненный, с оторванными ногами или руками, с вывалившимися на лед внутренностями, корчился в крови на льду, к презрительному торжеству шагавших мимо без числа рослых, сытых, наглых, веселых американских солдат — я повидал их год назад в Германии и представлял себе вполне отчетливо.

Снилось мне и такое: выбив американцев с советской земли, мы, в свою очередь, высаживались за океаном и мчались куда-то по гладким, широким шоссе-дорогам, в точности напоминавшим автостраду Берлин — Кёнигсберг: по сторонам мелькали чистенькие, аккуратные, ухоженные, точь-в-точь как в Германии, поля и леса, так же, как и весной сорок пятого, светило солнце и густо пахло сиренью, а похожие на немом молодые толстозадые женщины обрадованно, приветливо махали нам руками — трудящиеся Соединенных Штатов приветствовали нашу высадку.

Я кричал во сне от бессилия, но чаще — от отчаяния: американцы лезли через Чукотку на Колыму, расплзались по всей Сибири, двигали через Урал к Москве, к родной Кирилловке, где мучили и всякий раз выгоняли на мороз и убивали мою старенькую бабушку, а избу, в которой я вырос, да и всю деревню, сжигали дотла.

Нет, нас не достигнешь врасплох! Сорок первый год больше не повторится!

После глубокого текстуального изучения интервью товарища Сталина корреспонденту “Правды” относительно речи Черчилля, в котором по всем швам был разделан Черчилль и ему подобные господа-мерзавцы, невозможно было допустить, что Верховный мог в чем-либо ошибиться. Очевидно, существовали высшие, недоступные нашему пониманию соображения, знать которые нам не полагалось. Однако лично мне с каждым днем становилось все более ясным и очевидным: порох надо держать всегда сухим и этих так называемых союзников в мае сорок пятого надо было долбануть и шархнуть до самого Ла-Манша.

После нескольких политинформаций “Черчилль бряцает оружием!” с призывами к повышению бдительности и боевой готовности волна энергии и личной инициативы захлестнула, подхватила меня. Хотя я был всего лишь командиром роты, у меня зародился и принял довольно отчетливые формы план поистине стратегического значения: заманить американцев в глубь Сибири, поближе к полюсу холода, и заморозить там всех вместе с их перво-классной техникой. Я спал по 5—6 часов в сутки и гонял роту безжалостно, наверно даже не до седьмого, а до семнадцатого пота. Гонял так, что уже в июне начсанбриг майор медицинской службы Гельман сделал представление командиру бригады о переутомлении людей в моей роте. Я получил замечание, но нагрузки не сбавил, настолько был убежден в своей правоте.

А после отбоя ежедневно при свете трофейных плашек-коптилок на основе обобщенного уже опыта уличных боев в Сталинграде, Берлине и Бреслау я составлял уникальнейшую разработку “Уличные бои в условиях небоскребов”.

Я старался не зря. На учебном смотре моя рота — одна из полусотни стрелковых рот — заняла первое место и была признана лучшей не только в бригаде, но и в корпусе.

По итогам смотра я был награжден именными серебряными часами (персональные благодарности получили полковой и батальонный командиры).

Однако сны мои не сбылись, американцы напасть на нас не решились, и побывать за океаном, в Соединенных Штатах, мне в своей достаточно долгой жизни так и не пришлось...

К американцам у меня было личное, особое неприязненное отношение (я относился к ним, наверно, хуже всех в бригаде): если бы тогда, в июне сорок пятого, они не вывезли документы, то Астапыча не сняли бы с дивизии, мы бы тоже остались в ней, и поехали бы не на Восток, а в академию, и тогда бы Володька и Мишута остались бы в живых, и я бы не мучался на Чукотке...

## “ГОВОРИТ СТАРУХА ДЕДУ...”

### 1. ЗАСТОЛЬЕ 9 МАЯ 1946 ГОДА

Девятого мая сорок шестого года, в годовщину Победы над Германией, мы — девять офицеров — собрались после ужина в большой палатке-столовой. Для этого праздничного вечера заранее было припасено несколько флажек спирта, лососевый местный балык, сало, рыбные консервы и печенье из дополнительного офицерского пайка. Командир батальона болел — лежал в своей палатке простуженный с высокой температурой; замполит, видимо опасаясь возможных разговоров о коллективной пьянке, по каким-то мотивам уклонился; парторга, младшего лейтенанта, не пригласили, как не позвали и командиров взводов, но были командиры шести рот — трех стрелковых, минометной, пулеметной, и автоматчиков, зампострой\*, начальник штаба и его помощник — кроме двух последних все воевали на Западе, нам было что вспомнить и о чем поговорить.

Застолье двигалось без задоринки и происшествий, я, по обыкновению, выпил немного, но некоторые приняли хорошо и, подзаложив, разошлись, раздухарились, впрочем в меру, и настроение у всех было прекрасное. Командир минометной роты капитан Алеха Щербинин играл на тульской трехрядке, и мы пели фронтовые песни и частушки, находясь в стадии непосредственности, от избытка чувств стучали алюминиевыми мисками и ложками по накрытой клеенкой столешнице и даже, несмотря на ограниченность места в палатке, плясали — я на Чукотке это делал впервые и своим умением, особенно же различными присядками, впечатлил всех, меня не отпустили, просили еще и еще. Повар и дневальный, прибравшись за легкой перегородкой, где размещалась кухня, ушли, и, кроме офицеров, в палатке находился и обслуживал нас — прибирал на столе, приносил посуду и под конец разогревал на плите чай — ординарец начальника штаба батальона, молодой солдат с Украины по фамилии Хмельницкий, темноволосый, с ярким девичьим румянцем, улыбчивый, предупредительно-услужливый паренек.

Все собравшиеся офицеры, кто раньше, а большинство в настоящее время, командовали ротами, и, может, потому раза четыре в палатке под аккомпанемент тех же мисок и ложек — их намеренно не убирала со стола — оглушительно звучало:

*Выьем за тех, кто командовал ротами,  
Кто умирал на снегу,  
Кто в Ленинград прорывался болотами,  
Горло ломая врагу!  
Выьем за тех, кто неделями долги  
В мерзлых лежал блиндажах,  
Дрался на Ладого, дрался на Волхове,  
Не отступал ни на шаг!..\*\**

Выпил я меньше других и чувствовал себя отлично, хотя в конце вечера, когда спирт кончился и вынужденно перешли на чай, неожиданно случился разговор, на какое-то время испортивший мне настроение: вспоминали Германию, прекрасные послевоенные месяцы жизни.

Мое настроение было замечено, и Алешка Щербинин, чтобы развеять наступившую грусть, начал духариться, напевая веселые и озорные частушки, среди которых была и с такими словами:

---

\* Зампострой — заместитель командира по строевой подготовке.

\*\* Песня “Волховская застольная” (слова П. Шубина, муз. И. Любана) впервые была исполнена по радио в сентябре 1945 г.



*Говорит старуха деду,  
Я в Америку поеду,  
Только жаль, туда дороги нет.*

Эта смешная песенка понравилась не только мне, и по нашей просьбе Лехе пришлось ее повторить, и я еще подумал о ее справедливости и достоверности: до Америки, точнее до Аляски, было менее ста километров, а дороги туда действительно не было.

Расходились мы после полуночи. Я и командир второй стрелковой роты Матюшин, проваливаясь в глубоком талом снегу, вели начальника штаба под руки и крепко держали, а он, не воевавший и дня, как мы его ни уговаривали не шуметь в ночи, все время выкрикивал: “а я умирал на снегу” и при этом повисал или валился в стороны, норовя улечься в грязный тающий снег.

## 2. НА ДОПРОСЕ У СЛЕДОВАТЕЛЯ

А на другой день к вечеру меня вызвал прибывший из бригады следователь. Поместился он в землянке, именуемой в то время “кабинетом по изучению передовых армий мира”, то есть американской и английской. Позднее на это определение обратили внимание бдительные поверяющие из штаба округа, усмотрев в слове “передовые” низкопоклонство и восхваление, командованию бригады и батальона влетело за политическую близорукость, после чего землянка стала называться “кабинетом по изучению армий вероятных противников”.

Малорослый, худенький старший лейтенант с высоким выпуклым лбом над узким скуластым лицом, в меховой безрукавке и трофейных финских егерских унтах сидел за маленьким столом между двух коптилок и внимательно рассматривал меня.

Я ожидал, что он станет угрожать, будет кричать, как орал на меня, командира взвода автоматчиков, под Житомиром в ноябре сорок третьего года другой допрашивавший меня старший лейтенант, наглый подвыпивший малый: “...Я тебя, вражий сучонок, расколо до ж.., а дальше сам развалишься!.. Выкладывай сразу — с какой целью! — Быстро!!!”. Я попал как кур в опил, именно этого — с какой целью? — я не знал и представить не мог, и не понимал, потому что случилось несуразное, совершенно невообразимое. При переброске дивизии после взятия Киева в рокадном направлении на юг под Житомир двое автоматчиков из моего взвода втихаря запаслись американским телефонным проводом. Нашими соседями на марше оказались военнослужащие корпусной кабельно-шестовой роты, они и заметили тянувшийся вдоль шоссе этот отличный, оранжевого цвета особо прочный провод и, располагая кошками для лазанья по столбам, вырезали свыше двадцати пролетов — он был им нужен про запас, для дела, ну а моим-то двум дуракам зачем он понадобился?.. Однако, поддавшись стадному чувству, они выпросили себе по несколько метров. Как выяснилось, это была нитка высокочастотной, так называемой правительственной линии, и несколько часов штаб соседней армии не имел связи ни со штабом фронта, ни с Генеральным штабом; предположили, что совершена диверсия, и шум поднялся страшный. Когда на ночном привале в хату, где разместились остатки взвода, ввалился командир роты с двумя незнакомыми мрачноватого вида офицерами, вооруженными новенькими автоматами, и, присвечивая фонариками, стали шмонать вещевые мешки, я, естественно, не мог ничего понять. А когда обнаружили и вытащили мотки ярко-оранжевого заграничного провода, я только растерянно-оторопело спросил бойцов, зачем они его взяли. Один из них, убито глядя себе под ноги, проговорил: “Уж больно красивый...” Наверно, я сгорел бы там, под Житомиром, как капля бензина, но меня и обоих солдат не отдал Астапыч, заявивший, что накажет нас своей властью, а двое офицеров из корпусной кабельно-шестовой роты и четверо рядовых и сержантов попали “под Валентину”...

Был я тогда начинающим командиром взвода, робким желторотым фендриком, и потому принял и ругань, и угрозы как должное, как положенное... Однако с той поры я прошел войну и уже более года командовал ротами — разведывательной, стрелковой и автоматчиков, — я был теперь не тот, совсем другой, и заранее решил, что в самой резкой форме поставлю следователя на место и дам ему понятие о чести и достоинстве русского офицера, как только он начнет драть глотку. Но этого не произошло: он говорил тихо и вежливо, обращался ко мне исключительно на “вы” и ни разу не повысил голос.

С полчаса, как бы доверительно беседуя, он расспрашивал меня о моей службе и жизни, о родственниках, интересовался, с кем я переписываюсь, кому и на какую сумму высылаю денежный аттестат. Я говорил, а он все время делал заметки на листе бумаги.

Поначалу я решил, что он из контрразведки, но когда расписывался, что предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, прочел, что он — следователь военной прокуратуры бригады, старший лейтенант юстиции Здоровяков; ни его щуплое телосложение — соплей перешибешь, смотреть не на что, — ни его болезненно-бледное лицо никак не соответствовали этой фамилии.

Он неторопливо задавал мне вопросы и записывал мои показания в протокол, разговаривали мы в полном согласии и взаимопонимании, пока не добрались до главного — до текста злосчастного частушечного припева. Когда я, глядя в некую точку на его лбу — пальца на два выше переносицы, — сообщил, что Щербинин пел “в Андреевку”, он, отложив ручку, с интересом посмотрел на меня, а затем спросил:

— Вы что, были в состоянии алкогольного опьянения?

— Никак нет! — доложил я и для убедительности добавил: — Чтобы опьянеть, мне надо выпить литра полтора-два!..

Я крепенько приврал и тут же испугался своей наглости и того, что он уличит меня во лжи.

— Может, у вас плохо со слухом? — продолжал он. — Вы не ослышались?

— Никак нет! Ослышаться я не мог.

— И вы утверждаете, что Щербинин пел “в Андреевку”, а не “в Америку”?

— Так точно! “В Андреевку”! — подтвердил я, фиксируя взглядом все ту же точку над его переносицей.

Он некоторое время в молчании, озадаченно или настороженно рассматривал меня — я ни на секунду не отвел глаз от его лба, — а затем спросил:

— Вы, Федотов, ответственность за дачу ложных показаний осознаете?

— Так точно!

— Не уверен, — усомнился он и раздумчиво повторил. — Не уверен... Мне доподлинно известно, что Щербинин пел “в Америку”, и свидетели это подтверждают, а вы заявляете “в Андреевку”. С какой целью?

Насчет “свидетели подтверждают” я не сомневался, что он берет меня на пушку, я знал, что все восемь офицеров должны показать одинаково — “в Андреевку”, — но следователь об этом не подозревал, и в душе у меня появилось чувство превосходства над ним.

— Вы последствия для себя такого лжесвидетельства представляете?.. — продолжал он. — В лучшем случае вас сразу же уволят, выкинут из армии. Подумайте, Федотов, хорошенько — вам жить... О себе подумайте, о своей старенькой бабушке, о том, кто ей будет помогать... Образование у вас... — он посмотрел в лежавшие перед ним бумаги, — восемь классов, специальностью, профессией до войны не обзавелись, вы же на гражданке девятый хрен без соли доедать будете, а уж о бабушке и говорить нечего... Подумайте хорошенько, Федотов, трижды подумайте...

Он понял, что бабушка самый близкий и самый родной мне человек, уловил, сколь она мне дорога, и бил меня, что называется, ниже пояса... Но я этого не ощущал, я не боялся ни его самого, ни последствий, о которых

он меня предупреждал — я не сомневался, что их и быть не может, поскольку им, как и следовало, противостояло неодолимое единство офицерского товарищества.

Когда он предложил мне хорошенько подумать, я опустил глаза и, глядя на его коричневые трофейные унты, изобразил на своем лице напряженную работу мысли; с каждой минутой я все более презирал этого “чернильного хмыря”, как называл следователей и военных дознавателей старик Арнаутов, и желание у меня было одно — скорее бы все это кончилось! Но допрос продолжался, он разговаривал со мной еще не менее часа, и походило все это на сказку про белого бычка.

После некоторого молчания он снова спрашивал, как пел Щербинин: “в Америку” или “в Андреевку”, и я убежденно повторял: “в Андреевку”. И при этом преданно смотрел ему в центр лба, пальца на два выше переносицы, и тогда он опять осведомлялся, сознаю ли я ответственность за дачу ложных показаний, и я вновь заверял, что сознаю, а он снова спрашивал, представляю ли я себе последствия лжесвидетельства, а я твердо заявлял, что представляю, и тогда он в который раз предлагал мне хорошенько подумать. Опустив глаза, я демонстративно и упорно рассматривал его новенькие меховые унты и изобразил на своем лице сосредоточенное мышление — так повторялось три или четыре раза, после чего он огорченно заметил:

— По кругу мы идем, Федотов, по кругу!

— А как же еще идти? — изображая непонимание, вроде бы удивился я. — Вы же сами сказали, что я должен говорить правду и только правду... Зачем же я буду говорить то, чего не было?..

— Было, Федотов, было! — вздохнул он, сдерживая приступ зевоты, отчего у него задрожали сжатые челюсти. — Только, к сожалению, вы, советский офицер и к тому же комсомолец, не желаете помочь советскому государству в установлении истины! Тем хуже для вас... Но я не теряю надежды, что на суде вы скажете правду... У вас есть время подумать! Я надеюсь, что вы наш, советский человек, и делом докажете это...

А через три дня я был вызван в большую утепленную палатку, где заседал прибывший из штаба управления бригады военный трибунал.

### 3. ЗАСЕДАНИЕ ТРИБУНАЛА

— Подождите, капитан юстиции, — недовольно сказал зампострой подполковник Степугин, по прозвищу “Кувалда”, прокурору бригады Пантелееву.

“Капитан юстиции” он произнес с величайшим презрением, словно по смыслу это означало: “капитан ассенизации” или “капитан спекуляции”.

— Попрошу меня не перебивать! Я боевой офицер, гвардии подполковник, а не попка и не хер собачий! Сейчас свидетель доложит мне не меньше, чем вам!.. Скажи, Федотов, как на духу, что пел Щербинин? Припомни точно: куда намылилась старуха — в Андреевку или в Америку? Как на духу! Что она говорила деду?

— “Я в Андреевку поеду”! — доложил я, глядя на звездочку над козырьком фуражки подполковника и радуясь в душе тому, как он отбрил прокурора бригады.

— Это точно? Как на духу?

— Так точно! — вытянув руки по швам, выкрикнул я и повторил по слогам: — В Ан-дре-ев-ку!

— Это сговор! — негромко, но убежденно сказал прокурор председателю трибунала. — Явный сговор!

Он посмотрел в бумаги, лежавшие перед ним на тумбочке, и, усмехаясь, спросил:

— У меня вопрос к свидетелю и трибуналу: как это так, что в нашу советскую деревню Андреевку — и нет дороги?

— Обычное бездорожье, — напористо продолжал Степугин.

— Товарищ подполковник, — обратился к нему председатель трибунала.

— Я уже четвертый год подполковник! — перебил его Степугин. —

И хочу сказать прокурору, что он всю войну просидел в тылу, во Владивостоке, ходил по тротуарам и мостовой, а мы в это время всласть, досыта нас... с бездорожьем (он употребил крепкий глагол) на Западном и на Калининском фронтах, да и на Украине в сорок четвертом! Грязи по колено! И вся техника засела! И не только в Андреевку — в тысячи наших деревень не было и нет дорог! К тому же, может, она намылилась в самую распутицу? Может, у нее там были внуки? — предположил он.

— Товарищ подполковник, — опять вступился председатель. — На вопрос прокурора относительно дороги все-таки пусть ответит свидетель.

Он посмотрел на меня:

— Давайте, Федотов!

— Старуха намылилась в Андреевку, — твердо произнес я. — Возможно, у нее там остались внуки. Почему действительно там не было дороги, я точно не знаю, об этом и в частушке ничего не сказано. Может, действительно, это было в самую распутицу. Но ни в какую Америку малограмотная старуха и не собиралась, она даже и не знает, где она находится, — повторил я за подполковником.

— Это сговор! — убежденно сказал прокурор. — И котенку слепому ясно, что это сговор и все шито белыми нитками!

— Прошу занести показания свидетеля в протокол, — продолжал подполковник. — В Андреевку! Никаких Америк там не было! Записывай! — приказал он лейтенанту-секретарю.

— Еще вопросы к свидетелю Федотову есть? — спросил председатель трибунала.

— Павел Семенович, это сговор! — не повышая голоса, упрямо повторил прокурор председателю трибунала, но тот снова промолчал.

— Перед нами не только расследование поступка старшего лейтенанта Щербинина, перед нами — организованная антисоветская группа, которую так рьяно защищает и покрывает подполковник, и потому я настаиваю на необходимости дополнительного и более тщательного дознания.

— Идите, Федотов, — не глядя в мою сторону и тяжело вздохнув, разрешил мне майор, председатель трибунала.

Уже выходя из тамбура палатки, я услышал твердый голос подполковника:

— Если в его показаниях будет записано “в Америку”, я напишу особое мнение! Я вам всем мозги раскручу! Я гвардии подполковник, а не попка и не хер собачий!

Я пробыл на заседании трибунала минут двадцать, а может и полчаса, и все, естественно, я не запомнил, но самое существенное осталось в памяти. Спустя многие годы я вспоминал эту историю как нелепый бред, как фантазмагорию. В самом деле, мало ли что говорила какая-то старуха и почему за ее высказывания я должен был отвечать.

\* \* \*

В расположении меня окликнул и подозвал майор Попов — начальник политотдела.

— Ну что там, Федотов? — спросил он. — Ты мне не козыряй и не тянись! Вольно! Я к тебе не по службе, а по-товарищески, — вполголоса сказал он и быстро оглянулся.

Я чувствовал и был уверен, что все это дознание, расследование с угрозами было затеяно не без его прямого участия. Майора Попова в бригаде не любили, даже побаивались, а жесткие и даже жестокие методы его работы офицеры-дальневосточники в разговорах сравнивали с майором госбезопасности Дрековым, основоположником знаменитой “дрековщины”, о которой и после войны на Дальнем Востоке ходили страшные легенды. Во второй половине тридцатых годов Дреков был на Сахалине начальником областного управления НКВД и одновременно командиром погранотряда. В тридцать седьмом году, чтобы не отстать от других краев и областей и в стремлении

превзойти в бдительности всех своих коллег, он арестовал и расстрелял полностью обком партии и облисполком — от руководства до уборщиц, всех без исключения, уничтожил и остальных больших и маленьких начальников и большинство коммунистов, — за такое рвение он был награжден орденом Ленина. Он установил на острове неограниченную абсолютную власть своего ведомства, при которой он, его заместители и их подчиненные безнаказанно присваивали ценные вещи арестованных и расстрелянных, забирали без денег в магазинах, в том числе и в ювелирном, и в меховом, все, что хотели, принуждали к сожительству молодых женщин и совсем юных, даже несовершеннолетних девушек. Если бы о “дрековщине”, продолжавшейся несколько лет, с ошеломительными подробностями и деталями не рассказывали очевидцы — офицеры, служившие в те годы взводными или ротными на Сахалине, — поверить во все это было бы просто невозможно. Конец “дрековщины” был внезапным, удивительным и позорным: узнав, что в Хабаровск из Москвы прибыла комиссия, заподозрившая в показателях его работы очковтирательство или подлог, и на другой день прилетает к нему на остров, Дреков с портфелем, набитым золотом, бриллиантами и какими-то секретными документами, пытался бежать к японцам, на Южный Сахалин, сумел миновать контрольно-следовую полосу, однако в последний момент был застрелен рядовым пограничником, сообразившим побежать и перетащить труп и портфель обратно на советскую территорию, за что был награжден медалью.

— Аллес нормалес! — бодро ответил я майору.

Как выяснилось впоследствии, стукачом и осведомителем майора оказался веселый, румяный и такой услужливый рядовой Хмельницкий. Спустя двое суток командир роты старший лейтенант Щербинин под каким-то предлогом был вызван в штаб бригады и там арестован. Спелую им по пьяной лавочке на день Победы частушку: “Говорит старуха деду, я в Америку поеду, только жаль, туда дороги нет...” расценили как изменческое намерение — прокурор не поленился и подсуетился, и Леша попал “под Валентину”: ему отмерили 8 лет с отбытием наказания в исправительно-трудовых лагерях, лишением воинского звания “старший лейтенант” и трех боевых орденов. Единственно, чего его не лишили — нескольких ранений, полученных в боях: он воевал с первого дня войны, с июня сорок первого года...

Мне же, благодаря подполковнику, его твердости и настойчивости, а возможно, и председателю трибунала, не увидевших в моем поведении ничего антисоветского, а только демонстрацию хмельного офицерского острословия, что и было на самом деле, вчинить ничего не смогли...

## “ВСЕ ПРОЙДЕТ, И МЫ ПРОЙДЕМ, А РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ!..”

### 1. ДОКУМЕНТЫ

#### ШИФРОТЕЛЕГРАММА

Анадырь, штаб 126 ГСК

подана 30.5.46

9.00

*Всем командирам частей и подразделений*

*По данным разведбюллетеней ДВВО и постов ВНОС на участках расположения бригады действуют американские самолеты. Для сведения и руководства высылаю силуэты действующих американских самолетов. Обеспечьте тщательное их изучение всем личным составом. Обратить особое внимание на обеспечение наблюдения в районе бухты Провидения.*

*О всех замеченных самолетах передавать вне всякой очереди по паролю “Воздух” по телеграфу и на волне оповещения 168 по радио и доносить в Штакор шифром, указав конструкцию самолета, высоту полета, время, место и курс полета.*

*При вынужденных посадках американских самолетов экипажам оказывать всемерную помощь.*

*Нач. штаба*

### Приказ

20.6.46 г.

Штаб бригады

Бухта Провидения

*О подготовке частей и подразделений к штабным учениям и смотру ВС ДВВО*

*Инспекторская проверка и учебный смотр, проведенные штабом корпуса в соответствии с директивой ВС округа в мае месяце, показали, что офицерский состав всех категорий плохо знают тактику и организацию иностранных армий, в частности Америки.*

*Командир корпуса приказал:*

*1. До 28 июня 1946 г. всему офицерскому составу досконально изучить тактику и организацию американской армии, для чего провести ряд занятий и лекций с обязательным охватом всего офицерского состава.*

*2. До 1 июля от всего офицерского состава принять зачеты по знанию организации пехотной дивизии, дивизии морской пехоты американской армии.*

*3. 13 июля командирам частей лично провести тренировку по строевой, боевой и тактической подготовке по-ротно и по-батальонно перед предстоящими штабными учениями.*

*4. Нач-ку РО бригады на период прохождения учений в районе прекратить всякое передвижение не задействованного транспорта, выставить маяки.*

*Нач. штаба*

## 2. НАКАНУНЕ УЧЕНИЙ

Разведывательные американские самолеты стали регулярно появляться над расположением нашей бригады, совершая облеты территории.

Если всего год назад я требовал от своих бойцов мгновенного распознавания в воздухе “мессершмитов” и “фокке-вульфов”, то теперь я изучал с личным составом силуэты и опознавательные знаки “боингов”, “либерейторов”, “лайтингов” и “мустангов”: они базировались на аэродромах в городе Ном, полуострове Сьюард (Аляска) и острове Большой Диомид.

В мае это были легкие двухмоторные разведывательные самолеты, сопровождавшие подлодки, они нагло, на предельно низкой высоте в шестьсот метров — мы даже могли рассмотреть лицо пилота — кружили над нашими головами и проводили аэрофотосъемку.

К концу лета, когда надводным кораблям уже трудно было проходить в Берингов пролив, в воздухе стали появляться четырехмоторные бомбардировщики типа Б-19, Б-24 и Б-34.

Со времени учебного смотра мы находились в состоянии повседневной боевой готовности. В соответствии с директивой ВС ДВВО все части и соединения корпуса усиленно готовились к проведению в районе Анадыря и бухты Провидения двусторонних больших тактических учений. Тема для одной стороны — “Высадка десанта на самоходных баржах через пролив на морское побережье с целью захвата плацдарма”. Задача, которая стояла перед нашей бригадой, — “Организация обороны морского побережья, отражение и уничтожение десанта противника”. Этим учениям придавалось большое значение: надо было определить степень и уровень готовности передо-

вых сухопутных отрядов на случай внезапного нападения на нас американцев — высадки морского, а, возможно, одновременно и воздушного десанта.

Наблюдать за учениями должны были прибыть сам командующий Дальневосточным военным округом генерал армии Пуркаев, член Военного Совета округа генерал-лейтенант Леонов с группой генералов и офицеров штаба округа.

Люди были подняты в пять утра и уже более двух часов томились в траншеях, дрожа в ватниках под холодным дождем.

Взводом, а затем ротой я уже командовал четвертый год и знал, как плохо, вредно, перед боем, перед смотром или учением передерживать людей, особенно в непогоду — они перегорают и действуют потом значительно хуже.

Я обратился к командиру батальона по уставу и, отдав честь, попросил разрешения до прибытия поверяющих укрыть в палатках от дождя не только штаб, но и людей. Он посмотрел на меня как на чокнутого и с возмущением закричал:

— Ты что, ханура интендантская или боевой офицер? Иди отсюда!..

Я вышел из палатки, остановился снаружи и позвал старшину:

— Оттяжки отпусти. Могут лопнуть. Палатка завалится. Начальство останется в стороне, а тебе отвечать!

Майор выскочил ко мне с багровым лицом и опять сорвался на крик:

— Раскомандовался тут! Шлепай отсюда, щенок бесхвостый! И чтобы я тебя больше не видел!

Я посмотрел на него спокойно и с внутренним презрением, повернулся и пошел к роте.

...Оскорбляли меня и раньше. Так, замполит второго батальона в Пятнадцатом Краснознаменном стрелковом полку в сорок третьем году, вызвав к себе в землянку в связи с представлением меня к награде — медали “За отвагу” — и беседуя со мной мирно и доброжелательно, правда, будучи выпивши, вдруг доверительно, с радостным озарением сообщил:

— Знаешь, Федотов, твоя рожа и моя ж... — два бандита! Выставить в окошки — никакой разницы!

Погибший спустя месяц в бою на Правобережье, был он человек незлой и не дурак и настроение у него в тот вечер было приподнятое — одновременно со мной он был представлен к ордену Отечественной войны — и зачем, почему он на ровном месте и с явным удовольствием оскорбил и унизил меня (быть может, чтобы продемонстрировать свое остроумие?), я сколько ни размышлял, понять так и не смог.

Грубость людей, ничем не оправданная и ничем не вызванная, и в последующей армейской жизни нередко меня удивляла. Щенком меня считали или называли тоже не в первый раз, невероятно обидело другое: как известно, люди не имеют хвостов, почему же это вчинили только мне? А главное, за что так несправедливо майор облаял меня в присутствии младших по званию?

Я увидел подыхавших на двух “доджах” и приближавшихся к берегу, где был оборудован ротный участок обороны, людей в офицерских плащ-накидках, достававших им до пят. Они медленно преодолевали разделявшую нас полосу болота.

— Встать! Смирно! Товарищи офицеры! — крикнул я и, выпрыгнув из траншеи, побежал им навстречу, высматривая и определяя, кто из них старший по должности и званию.

Внимание мое привлек — я его выделил интуитивно — шагавший ближе к середине высокий плечистый человек с большим носом на широком, властном, начальственном лице. И я решил, что это — командующий Дальневосточным военным округом генерал армии Пуркаев. Не добежав до него уставных восьми метров, я вкопанным остановился, кинул ладонь к уже набухшей водой пилотке, щелкнул каблуками набрякших сапог и громко, четко доложил:

— Товарищ генерал армии, рота автоматчиков второго горно-стрелкового батальона к проведению учения на тему “Оборона ротного участка побережья по урезу воды” готова. — Докладывает командир роты старший лейтенант Федотов.

В этих тщательно заученных фразах я пропустил одно слово. И, четко, оторвав ладонь от пилотки, кинул ее вниз, к ляжке. Получилось это у меня весьма эффектно — в строевой подготовке офицерского состава меня, как правило, выделяли среди лучших. Этому шику я был обязан Арнаутову, который меня наставлял:

— Во время доклада, Василий, не мямли, как брюхатая баба... Руби дружно, в такт, с расстановкой... Головой не верти и к пустой голове руку не приставляй... Глади весело и прямо в глаза... Ноги прямые и плотно сдвинуты: носок к носку, каблук к каблуку, колено к колену. Перед начальством не переступай с ноги на ногу и не выделявай антраша, — что такое “выделять антраша”, я не представлял, только ощущал, что для офицера оно означает что-то неприличное. — К начальству подходи на прямых ногах, четко печатай шаг, а не как корова на корде...

Я еще не закончил, только начал докладывать, как почувствовал, что командующий чем-то возмущен. Лицо его исказилось негодованием, он буквально задохнулся и спустя мгновение в ярости закричал:

— Отставить!!! Ты что — жертва аборта?!! На пятом месяце из мамочки вывалился?!!

Это было оскорбительно и несправедливо. Я не был недоноском, а даже, наоборот, — весил при рождении двенадцать фунтов, и волос, как рассказывала мать, на голове у меня было не меньше, чем у годовалого ребенка. Уже в зрелом возрасте я пришел к выводу, что, очевидно, еще в утробе матери, интуитивно чувствовал, что меня ничего хорошего в жизни не ждет, и не спешил, не торопился на свет божий.

Как и в других случаях, когда жизнь внезапно и неожиданно, незаслуженно и необоснованно ставила меня на четыре кости или когда меня несправедливо, но грубо и злобно ругало начальство, у меня сразу возникало неприятное ощущение в животе и чуть ниже, и, хотя я не мог сообразить, в чем дело, за что, я собрался с силами и пробормотал:

— Виноват, товарищ генерал армии...

— Ма-а-ал-чать!!! — закричал он так оглушительно, что я вздрогнул. — Ты что, дубина, ослеп? — Бешенство душило его, выкатив ставшие страшными глаза и вытянувшись перед стоящим справа от него невысоким человеком с черными усиками на невыразительном, бесстрастном лице, уже без крика, но громким, возбужденным голосом доложил:

— Товарищ генерал, это провокация!

Я уже сообразил, что произошло: принял за командующего кого-то другого, а он, поворачиваясь к стоявшему сзади командиру бригады, жестким тоном спросил:

— Полковник, он что у вас, пьян или больной на голову? Объясните! Какой дурак доверил ему роту?

Как оказалось, генерала армии Пуркаева среди приехавших сюда на берег к ротному участку в этот час не было, хотя двое генералов находились. А принял я за командующего округом начальника отдела боевой подготовки, по званию — полковника. Но вины моей в том не было: они прибыли на Чукотку с Южного Сахалина в добротных генеральских и полковничьих фуражках и, чтобы не попортить их под мокрыми капюшонами, им вместе с плащ-накидками выдали со склада одинаковые офицерские шапки-ушанки — температура в этот дождливый день была около нуля, — так что никаких знаков или признаков различия на виду не было.

Почему полковник на мое к нему обращение как к генералу армии отреагировал с такой яростью и почему расценил мою ошибку как провокацию, я не понял и так и не узнал — не за капитана же или за майора я его принял.

### 3. ПОДПОЛКОВНИК МАКЕДОН

Наутро выяснилось, что, когда генерал Пуркаев и еще десяток прибывших с ним из штаба округа генералов и полковников осматривали расположение бригады, случился неприятный инцидент.



Поскольку командир бригады после контузии заикался и недостаток этот в присутствии начальства усиливался, начальник политотдела был человек новый, а замполит — косноязычен, вышло так, что пояснения Военному Совету в основном давал заместитель командира бригады по тылу подполковник Македон, красивый и представительный офицер, с быстрой и бойкой речью, как поговаривали, в молодости служил конферансье в Ростове, откуда был родом.

Показывая высокому начальству жилые и служебные землянки, утепленные на дощатых каркасах палатки, капониры-аппарели с боевой и транспортной техникой, укрытые двойными брезентами штабеля с продовольствием, склады, неприкосновенный запас угля и другое бригадное хозяйство, он говорил: “Мы построили... Нами открыто... Мы соорудили... Нами запасено... Мы заложили... Нами заготовлено...”

— Кто вы такой? — поворачиваясь к нему, вдруг резко и настороженно спросил командующий.

— Заместитель командира бригады по тылу подполковник Македон!

Как рассказывали потом очевидцы, Пуркаев с ненавистью посмотрел на Македона и, указывая на него генералам и полковникам, зло вскричал:

— Вот из-за таких мерзавцев-златоустов в сорок третьем году товарищ Сталин отстранил меня от командования фронтом!

Он резко повернулся и, не оглядываясь на сопровождавших его лиц, быстро пошел к машине.

Позднее со слов одного майора, воевавшего под Великими Луками, стало известно, что генерал Пуркаев в апреле сорок третьего года за перебои в снабжении войск продовольствием и фуражом во время весенней распутицы действительно был отстранен от командования Калининским фронтом, а несколько непосредственно повинных в том офицеров и генералов попали под суд трибунала. Так, фактически из-за интендантов, он угодил под колесо истории и был отправлен на Дальний Восток, что для боевого генерала во время войны было равнозначно ссылке. И если его однокашники и генералы его поколения за два последующих года победного наступления на западе многожды награждались, стали знаменитыми полководцами, маршалами, Героями и дважды Героями Советского Союза, он все это время провел в глубоком тылу в Хабаровске, в роли безвестного военачальника, и очередное воинское звание — “генерал армии” — получил с отсрочкой более чем на год.

Разговор об эпизоде с подполковником Македоном среди офицеров батальона было немало, и, сопоставив, я сообразил, что именно тогда вместе с Пуркаевым весной сорок третьего оказался под колесом истории и генерал-лейтенант Лыков, назначенный затем командиром Сто тридцать шестого стрелкового корпуса, в состав которого входила наша дивизия. Только, в отличие от Пуркаева, он, пониженный в должности до командира корпуса, был оставлен в Действующей армии и воевал последующие два года весьма успешно, хорошо и со славой.

Естественно полагать, что, как и Лыков, а может, в еще большей степени, генерал Пуркаев не любил интендантов, возможно, тыловик-подполковник Македон остро напомнил ему о несостоявшейся полководческой судьбе, чем крайне его раздражил. Испортило настроение командующему и то обстоятельство, что усиливающийся с каждым часом сильный ветер с дождем разогнал шторм, из-за чего часть боевых кораблей была выведена из бухты Провидения, а выявившийся недостаток надежных плавсредств не позволил в полной мере провести посадку и высадку подразделений на корабль и на берег с него и продемонстрировать взаимодействие с военно-морскими силами, поэтому основной упор был сделан на проведение сухопутной части оперативно-тактического учения.

#### 4. “АДНАПАЛЧАНА”

Генерал Пуркаев оказался человеком среднего роста, поджарым, плечистым, на смугловато-бледном, широком, тщательно выбритом лице выделялся крупный, правильной формы нос с горбинкой; карие умные глаза и очки

в металлической оправе придавали его облику суровый вид. Во всей его наружности, в жестах и голосе чувствовалось сознание своей силы и власти над людьми.

Подведение итогов учения и “разбор полетов” состоялся на берегу, где выстроился весь батальон. В меховой куртке, в сапогах, в которые были заправлены бриджи с широкими, защитного цвета лампасами, генерал с мрачным видом и в полном молчании быстро шел вдоль строя, вглядываясь в лица. Я об инциденте с Македоном в то время еще не знал, и мрачность командующего и не улыбочивость остальных генералов и полковников расценил как недовольство подготовкой и действиями батальона и командиров рот, приняв их молчание за неудовлетворительную оценку проведенных учений.

Он резко остановился, и следовавший за его правым плечом на расстоянии положенных двух шагов командир бригады чуть с ним не столкнулся.

— Зачем вы здесь, на Чукотке, находитесь? С какой целью? — глядя вдаль в подернутую сырой холодной дымкой тундру, спросил меня командующий и уточнил: — Какая задача поставлена перед бригадой?

Вопрос этот был не для ротного, а тем более не для взводных командиров, но ответ я знал наизусть: на прошлой неделе начальник штаба бригады полдня специально наставлял нас, и теперь, опережая взводных, я выткнулся перед командующим Пуркаевым, как говорится, “до разрыва хруста позвоночника”, преданно, не мигая фиксировал точку у него на лбу и уверенно заговорил:

— Товарищ генерал армии, докладываю... Перед бригадой поставлены следующие задачи: прикрытия, оборона полуострова со стороны Аляски, обеспечение морских коммуникаций вдоль побережья Берингова пролива, изучение и освоение Чукотского полуострова в военном отношении, как сухопутного тэвэдэ\*, а также... выявление, изучение и освоение важнейших операционных направлений, — с облегчением закончил я.

Генерал Пуркаев еле заметно кивнул в знак согласия или просто нагнул голову и, не оборачиваясь, спросил полковника:

— Это кто?

— Товарищ генерал, это же старший лейтенант Федотов, командир роты автоматчиков, лучшей в бригаде и корпусе по итогам стрельб и летнего корпусного смотра. Боевой офицер! Как вы могли убедиться, товарищ генерал армии, Федотову с его орлами не то что провести показательные учения, но даже форсировать Берингов пролив, если придется, не составит труда. Он давно заслуживает присвоения звания “капитан”.

— Посмотрим, — слегка улыбнулся Пуркаев на смешное заикание полковника (“ка-ка-капитан”), прозвучавшее как кваканье, и стал задавать мне вопросы, проверяя мою сообразительность:

— Ваши конкретные действия: танки сзади, вы окружены, два командира взводов убиты, левый фланг смят, боеприпасы на исходе, роту атакуют с ранцевыми огнеметами? Каким будет ваше решение: прорываться на север или отходить в тундру?

Я погибал не от условных танков и огнеметов, а от устремленных на меня глаз худощавого, сутуловатого члена Военного Совета генерал-лейтенанта Леонова, напряженных взглядов еще пяти генералов и командира бригады. Я отвечал четко и, как мне показалось, с каждым моим ответом суровость на лице командующего исчезала, уменьшилось и напряжение в стане генералов. Полковник, командир бригады, выпятив грудь и с гордостью поглядывая на всю свиту, как бы говорил: “Вот какой у меня орел!”

И в эту минуту где-то сзади на некотором расстоянии послышались странные непонятные возгласы, командующий невольно обернулся, посмотрели в ту сторону и другие генералы и офицеры, оглянулся и я и, к великому удивлению и растерянности, увидел метра в тридцати торопливо спешившего к нам от лимана низкорослого, явно пьяного эскимоса или чукчу лет сорока, а может, и старше, с черными волосами над темным обветренным лицом; он широко улыбался, на нем была длинная старая кухлянка с отки-

\* Тэвэдэ — театр военных действий.

нутым назад капюшоном, а на ногах высокие резиновые сапоги. При виде его меня охватила оторопь: как он сюда попал? Как он мог здесь оказаться?!. Уму непостижимо!..

Когда генерал и офицеры повернулись к нему, он выхватил из кармана грязной рваной кухлянки фляжку и, победно подняв ее, потряс над головой и с сильнейшим акцентом, перевирая слова, хриплым голосом закричал:

— Ией, гинирала!.. Мая ифрейтор! — он ткнул себя в грудь. — Мая вайна... пронт хадила! Мая брала Ростов, брала Киев и Выршава! Аднапалчана!.. Давай!

И он снова радостно потряс поднятой высоко фляжкой, таким образом, очевидно, предлагая командующему и члену Военного Совета округа, в которых по обмундированию и, надо думать, прежде всего по папахам определил генералов, распить с ним содержимое фляжки, должно быть, прямо из горлышка. В ту же секунду у меня за спиной кто-то властно крикнул: “Убрать!!!”, и сразу четверо офицеров — командир нашего батальона майор Гуштин, два его заместителя и недавно прибывший с материка подполковник, назначенный начальником политотдела бригады (вместо майора Попова), — словно ожидавшие этой команды, прозвучавшей отрывисто, как удар кнута, стремглав бросились к пьяному эскимосу или чукче, и он, остановясь, громко испуганно закричал: “Таваричи!.. Аднапалчана!..”, но они набросились на него, при этом выбили, или он сам выронил фляжку; и вдруг он начал яростно сопротивляться и что-то выкрикивать по-эскимосски или по-чукотски вперемешку с русскими матерными словами, однако офицеры уже крепко ухватили его за верхние и нижние конечности, подняли и быстро, чуть ли не бегом, потащили прочь, ногами вперед, а он, видимо не в силах стерпеть обиду или утрату фляжки, рвался у них из рук, бился, как пойманный зверь, выгибался всем телом, верещал, как резаный, и, дергаясь головой, пытался их укусить, что ему и удалось: как выяснилось позднее, он до кости прокусил запястье начальнику политотдела Краснознаменной, орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады гвардии подполковнику Васильченко.

За девять месяцев офицерской службы на Чукотке я неоднократно бывал в расположенном поблизости поселке, заходил в яранги или в чумы, я не знал точно, как они называются, как не знал, кто их хозяева: эскимосы или чукчи, хотя народности эти разные, как говорили, с противоречиями, раздорами и даже враждой, но я не интересовался, кто есть кто: в батальоне и в отстоящем от нас на тридцать километров штабе бригады всех нерусских местных жителей называли одинаково — чучмеками. Общались мы с ними редко и в их жизнь не вникали; как справедливо говорил майор Гуштин: “А нам что чукчи, что эскимосы, одна ...” Весьма неприятное впечатление на меня произвели грязь и вонь в их жилищах: пахло затухлой рыбой или ворванью, и не только... Рассказывали, что все они, якобы для здоровья, умываются мочой, и брезгливость была основным чувством, которое я к ним испытывал.

Проживавшие на Чукотке эскимосы имели соплеменников на Аляске и по какой-то конвенции, подписанной с Америкой еще при царском правительстве и действовавшей до сорок восьмого года, в отличие от чукчей, имели право беспрепятственного пересечения границы, что и делали после досмотра пограничниками: летом на баркасах и даже лодках, а зимой, когда пролив замерзал, по льду на собаках. На политзанятиях нас неоднократно предупреждали, настоятельно призывая к бдительности, что среди них полно агентов, завербованных американской разведкой на Аляске, и потому в каждом эскимосе следовало предполагать вероятного шпиона, а так как от чукчей мы их не отличали, ко всем нерусским местным жителям мы относились с неослабным, напряженным подозрением.

При появлении здесь, в районе учения, этого пьяного оборванца на какое-то время я буквально оцепенел. Хотя он безбожно перевирали слова, я разобрал и понял, что он — демобилизованный ефрейтор, воевал на Западе, освобождал Ростов, Киев, Варшаву и, наверное, ощущая свою причастность к войне и армии, полагал всех военных своими однополчанами и теперь, будучи хорошо поддатым, он при виде живых генералов в радостном возбуждении захотел угостить их и выпить с ними. Конечно, это было ди-

ким, недопустимым панибратством, объяснимым только сильным опьянением, и его надо было немедленно увести отсюда, но когда четыре здоровенных офицера — а они были как на подбор рослые и дюжие — набросились и сгребли этого маленького нелепого человека, не вызвавшего у меня поначалу, естественно, никаких симпатий, а наоборот — безразличность и неприязнь, я испытал потрясение, чувство стыда и даже некоторую жалость к нему, хотя, безусловно, понимал, что ему здесь не место.

Однако не только мне картина эта показалась невыносимо неприглядной. Когда, опомнясь, я обернулся, то увидел, как командующий и член Военного Совета, а малость поотстав от них, и все другие прибывшие из штаба округа генералы и офицеры стремительно уходили к ожидавшим их по ту сторону болота автомашинам “додж”; за ними, отстав еще метров на десять, с убитым, как мне показалось, видом спешили командир бригады, его зам-построй и начальник штаба. На месте, где какую-то минуту назад находились генерал армии Пуркаев, генерал-лейтенант Леонов и полтора десятка сопровождавших их начальников, теперь, кроме меня, стояли с растерянными и виноватыми лицами трое взводных командиров.

Я понимал, сколь все это нелепо и чрезвычайно получилось: прибытие Военного Совета округа на Чукотку держалось в строжайшей тайне, местность в радиусе полутора километров от участка обороны, где проводились учения, была оцеплена двумя стрелковыми ротами, знал я и о договоренности с пограничниками о том, что их сторожевой катер с ночи патрулирует в проливе, чтобы не допустить сюда и к прилегающим участкам побережья ни одно плавсредство. И вот, несмотря на все предосторожности, пьяный эскимос или чукча, быть может, и скорее всего агент американской разведки, оказался рядом с командующим, рядом с генералами и старшими офицерами, видеть которых ему здесь, вблизи границы с Аляской, никак не полагалось, и, более того, своим разнузданным панибратством — приглашением в собутыльники, приглашением распить с ним содержимое фляжки, очевидно прямо из горлышка, — чудовищно их оскорбил. Я понимал, сколь все это невероятно и чрезвычайно, но как же они могли уйти, не сказав ни слова?.. Не последовало от них даже четко предусмотренного Уставом в тех случаях, когда начальник покидает воинскую часть или подразделение: “До свидания, товарищи!”

Взводные стояли в растерянности, подавленные, ничего не понимая и не скрывая этого. В отличие от них, даже в эти минуты душевного отчаяния я не забыл, что и на службе, как и в бою, офицер не имеет права на эмоции и не смеет поддаваться настроению. Я был воспитанником незабываемой Четыреста двадцать пятой стрелковой дивизии, был воспитанником Астапыча, то и дело напоминавшего подчиненным командирам: “Хорошее слово и кошке приятно!” И как бы со мной ни обошлись вышестоящие начальники, что бы ни произошло, я должен был следовать не их внезапному поведению, а полторавековой, еще со времен Суворова, традиции русского офицерства и, прежде всего, принципу армейской или воинской справедливости. Я велел построить роту и, став перед людьми в центре, стараясь держаться “бодровесело” и пытаясь через силу улыбнуться, поблагодарил всех за службу и самоотверженные, как я выразился, действия во время учения, что вообще-то соответствовало истине, а затем приказал командиру первого взвода вести людей в расположение, кормить обедом и отдыхать.

Я не мог это сделать сам: после шести часов нервного перенапряжения я был совершенно измучен, разбит и при всей своей физической крепости и выносливости ощущал слабость в ногах и полную опустошенность. Мне хотелось остаться одному и все осмыслить, ну а главное — я чувствовал, что не смогу идти целый час по тундре на виду у сотни подчиненных, посматривавших на меня с интересом и сочувствием или сожалением. Что я мог сказать или объяснить этой сотне человек, считавших меня строгим, требовательным, но справедливым командиром роты?

Рота ушла, а я в тяжком раздумье стоял возле траншей и смотрел, как равномерно, одна за другой, обрушивались на прибрежную гальку морские волны. Слева, примерно в полукilометре, на воде был виден пограничный катер — он по-прежнему патрулировал в проливе.

Услышав в отдалении голоса, я обернулся и увидел Уфимцева с тремя подчиненными: из палатки для высокого начальства, где на двух столах — и для генералов, и для полковников — были растянуты белоснежные, ни разу не стиранные простыни, они уносили к машине, стоявшей у края болота, коробки со съестным, две канистры, большой эмалированный чайник, стулья и другое армейское имущество. Командующий ни разу и ни на минуту не заглянул в эту палатку согреться и перекусить, отчего сделать это не могли или не решились остальные генералы и полковники. Как я узнал позднее, он, возвратясь с берега в батальон, будучи в дурном расположении духа, отказался и от с великими хлопотами специально приготовленного обеда и тотчас вместе с сопровождавшими его лицами убыл на трех “доджах” в штаб бригады. Никто из прибывших в батальоне не ел и даже чая не пил, а уж алкоголя тем более и капли в рот не взял, что, однако, не помешало интендантам, как впоследствии выяснилось, списать на Военный Совет округа только в нашем батальоне одного спирта сорок девять с половиной килограммов... “Россия-матушка!..” — как, вздохнув, сказал бы старик Арнаутов.

Я видел, как Уфимцев вместе со старшиной и двумя сержантами уложили все в “додж”, сели сами и уехали, а я, подумав, пошел в палатку, где, кроме голого стола и смятой картонной коробки, уже ничего не было.

Чтобы не тянуло холодом понизу, я опрокинул стол на бок, ближе к входу и лег вплотную к столешнице с подветренной стороны, подложив под голову оставленную старшиной роты сухую плащ-накидку. Метрах в трех от меня спускался полог палатки, невдалеке от него на земле белел раздавленный окурочок папиросы.

Отринутый и забытый, казалось, всем человечеством, я, офицер великой армии-победительницы, поставившей на колени две сильнейшие мировые державы, подобно этому окурочку никому не нужный, лежал на краю света, на берегу Берингова пролива и не мог понять и осмыслить того, что произошло. Ради этого дня, ради успешного проведения показательного учения я четыре месяца, без преувеличения, выворачивался наизнанку, я сделал все, что мог, и люди выкладывались в отделку, без остатка, но не последовало ни разбора действий роты, ни какой-либо оценки, не последовало даже положенного “До свидания”.

Что могло меня утешить, кроме слов из старинной офицерской молитвы и мольбы, произносимой когда-то перед боем: “Нас много, а Россия одна!.. Смерти нет! Все пройдет, и мы пройдем, а Россия останется!..” Донельзя удрученный, буквально убитый произошедшим, я повторял ее как магическое заклинание, но легче не становилось, и единственное, что мне хотелось, — забыться...

...И снова мне снился Ибрагимбеков из костромского госпиталя. Я бежал за ним по уходящему вдаль светлому бесконечному коридору, где, кроме нас, никого не было, и спрашивал, умолял сказать: как мне быть? как жить дальше? — а он, как и всегда, даже не оборачиваясь, уходил от меня. Наконец, догнав, я ухватил его за рукав бязевого госпитального халата, и в то же мгновение послышалось неизменное, правда произнесенное совсем другим, жестким начальственным голосом и вроде без кавказского акцента: “Два раза джопам хлопам — пьздуют рублей даем!” На сей раз эта фраза прозвучала властно, грубо и, пожалуй, угрожающе. И тут вдруг, к моему ужасу и отчаянию, обнаружилось, что ухваченный мною за рукав отнюдь не рядовой Ибрагимбеков, симулянт и дезертир, откупленный родственниками от фронта и от армии, а принятый мною за командующего, скорый на расправу и беспощадно свирепый начальник отдела боевой подготовки штаба округа полковник Хохлачев, и был на нем вовсе не госпитальный халат, а новенький китель с золотистыми погонами и орденскими планками на груди, а на голове — не замеченная мною сзади великолепная, прямо как у генерала, папаха из серого каракуля. Взбешенный моей наглостью и неуставным обращением (более всего, очевидно, тем, что я ухватил его за руку), он выкатил ставшие от гнева страшными темные глаза и закричал, а точнее, оглушительно заревел: “Как жить?! Ты что — службы не знаешь?! Я тебя живо унасекомлю!!!”

— За что?!! — в голос застонал я.

От волнения, от ощущения чего-то горячего на лице и какого-то торможения, от странных непривычных звуков я очнулся и открыл глаза. Гесеновская палатка была полна эскимосских лаек; невысокие, приземистые, с длинной грязной шерстью и стоячими ушами, провонявшие рыбой или ворованью, они, повизгивая, возились и прыгали около меня, лизали мое лицо, хватали зубами полы куртки и рукава. Другие в стороне с охотничьим азартом выискивали у себя в шерсти и щелкали блох. Там же, около смятой картонной коробки, две псины отнимали, рвали друг у друга из пасти мою суконовую офицерскую пилотку: выдернутая красная звездочка валялась возле них на земле. Более других мне запомнилась с оторванным левым ухом собаки, радостно лизавшая мое лицо и после того, как я открыл глаза.

Это были ездовые лайки из эскимосского поселка. Зимой они ценились как тягловая сила, их кормили и обихаживали, а три бесснежных месяца — ненужные людям и потому предоставленные самим себе — они стаями бегали по округе в поисках пропитания, часами с лаем клубились близ расположения батальона, на огороженной помойной площадке, куда бочками оттащивали отходы пищеблока.

Здесь, на Чукотке, я уже слышал, что если где-нибудь в тундре в пургу, заблудившись, человек засыпает и может замерзнуть, ездовые собаки начинают хватать его зубами за кушлянку и меховые торбаза, лают, визжат, покусывают и горячими языками лизут ему лицо.

Все это они прodelьвали сейчас со мной, видимо решив, что я погибаю, впрочем, в тот час и мне так казалось. Поняв их побуждение и действия, я, растроганный, обхватил двух или трех псин руками, прижал к себе и, не удержавшись, заплакал... Возможно, не только от их соучастия и стремления спасти меня, но и от очередного осознания своего несовершенства и слабости или мыслительной неполноценности уже в который раз за последние полтора года, пусть во сне, я, офицер-фронтовик, бывалый окопник, имевший ранения, контузии, боевые ордена и медали, унижался, обращаясь за помощью, за советом, как мне жить дальше, к симулянту и дезертиру рядовому Ибрагимбекову, хотя не мог не понимать, что, кроме неизменного “Два раза джопам хлопам — пыздут рублей даем”, я от него ничего не услышу.

...Оцепление местности и обеспечение секретности присутствия здесь Военного Совета округа было за пределами моих обязанностей, и никакой моей вины в произошедшем не было — отвечало за это командование бригады и батальона.

По молодости я не знал, что не следует представлять себе неприятности, которые еще не произошли. И словно позабыл, что жизнь, как погода: сегодня холодно — и ты дрожишь, а завтра тепло — и ты снова согрет, и судьба улыбается тебе лично, и как — в тридцать два зуба!

...Чукотка запомнилась мне не только снежными бурями, пургами, холодом, трудностями службы, но и обмороженными пальцами рук и ног. Удивляло, как удалось выжить в таких условиях? На Чукотке, когда тебя окружали ледяная неподвижность и безмолвие, сохранить оптимизм было в десятки раз сложнее, и впервые там в мое железобетонное, ортодоксальное мышление проникли бациллы сомнения и нигилизма. Впрочем, в жизни моей Чукотка оказалась лишь цветочком, ягодки же были — впереди...

## 5. ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА

...11 августа 1946 года бригаду на Чукотке посетили командующий Дальневосточным военным округом генерал армии Пуркаев, член Военного Совета округа генерал-лейтенант Леонов с группой генералов и офицеров штаба округа.

За отличную зимовку 1945—1946 гг. в районе пос. Анадырь и бухты Провидения Чукотского полуострова генерал армии Пуркаев объявил благодарность всему личному составу бригады.

...Ознакомясь на месте с чрезвычайными условиями зимовки личного состава бригады, командующий округом участник трех войн генерал армии Пуркаев не смог сдержаться и заплакал...